|  |
| --- |
| **Василий Макарович Шукшин**  **Я пришел дать вам волю**  **Часть первая**  **ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ**  Каждый год, в первую неделю великого поста, православная церковь на разные голоса кляла:  ...  *«Вор и изменник, и крестопреступник, и душегубец Стенька Разин забыл святую соборную церковь и православную христианскую веру, великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градех учинил, и всех купно православных, которые к ево коварству не пристали, побил, потом и сам вскоре исчезе, и со единомышленники своими да будет проклят! Яко и прокляты новые еретики: архимандрит Кассиап, Ивашка Максимов, Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноглев, Гришка Отрепьев, изменник и вор Тимошка Акиндинов, бывший протопоп Аввакум…»*  Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, качалась тишина; пугались воробьи на дорогах. Над полями белыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, ниспосланные людям людьми же. Голоса в храмах божьих рассказывали притихшим — нечто ужасное, дерзкое:  ...  *«…Страх господа бога вседержителя презревший, и час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменивший, церковь святую возмутивший и обругавший, и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великая и Малыя и Белыя Россия самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, иго работы отвергший…»*  Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и привычная. И слушали русские люди, и крестились. Но иди пойми душу — что там: беда и ужас или потаенная гордость и боль за «презревшего час смертный»? Молчали.  ...  *…«Народ христиано-российский возмутивший, и многие невежи обольстивший, и лестно рать воздвигший, отцы на сыны, и сыны на отцы, браты на браты возмутивший, души купно с телесы бесчисленного множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство Московское, зломышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, новый вор и изменник донской казак Стенька Разин с наставники и зломышленники такого зла, с перво своими советники, его волею и злодейству его приставшими, лукавое начинание его ведущими пособники, яко Дафан и Авирон, да будут прокляты. Анафема!»*  Такую-то — величально-смертную — грянули державные голоса с подголосками атаману Разину, живому еще, еще до того, как московский топор изрубил его на площади, принародно.  **1**  Золотыми днями, в августе 1669 года, Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров.  Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию — позади. Разницы приползли чуть живые; не они первые, не они последние «сбегали на Хволынь», но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за «зипуны» остались казачьи жизни, и много. И самая, может быть, дорогая — Сереги Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которое молодцы «наторговали» у «косоглазых» саблей, мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых. Всех 1200 человек (без пленных). Надо теперь набраться сил — отдохнуть, наесться… И казаки снова было взялись за оружие, но оно не понадобилось. Вчера налетели на учуг митрополита астраханского Иосифа — побрали рыбу соленую, икру, вязигу, хлеб, сколько было… А было — мало. Взяли также лодки, невода, котлы, топоры, багры. Оружие потому не понадобилось, что работные люди с учуга все почти разбежались, а те, что остались, не думали сопротивляться. И атаман не велел никого трогать. Он еще оставил на учуге разную церковную утварь, иконы в дорогих окладах — чтоб в Астрахани наперед знали его доброту и склонность к миру. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам.  Два пути домой: Волгой через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там — государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поотнять у них добро и разоружить. А после — припугнуть и распустить по домам, и не такой оравой сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться… Да и почему отдавать-то?! Все добыто кровью, лишениями вон какими… И — все отдать?  **2**  …Круг шумел.  С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс.  — Ты что, в гости к куму собрался?! — кричали ему. — Дак и то не кажный кум дармовшинников-то любит, другой угостит, чем ворота запирают.  — Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня — не ухват! — гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. — Сам могу кого хошь угостить.  — Он у нас казак ухватистый: как ухватит бабу за титьки, так кричит: «Чур на одного!» Ох и жадный же!  Кругом засмеялись.  — Кондрат, а Кондрат!.. — Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом. — Ты чего это разоряешься, што воевода тебе не кум? Как это проверить?  — Проверить-то? — оживился Кондрат. — А давай вытянем твой язык: еслив он будет короче твово же носа, — воевода мне кум. Руби мне тада голову. Но я же не дурак, штоб голову свою занапраслину подставлять: я знаю, што язык у тебя три раза с половиной вокруг шеи оборачивается, а нос, еслив его подрубить с одной стороны, только до затылка…  — Будет зубоскалить! — Кондрата спихнул с бочонка казак в есаульской одежде, серьезный, рассудительный.  — Браты! — начал он; вокруг притихли. — Горло драть — голова не болит. Давай думать, как быть. Две дороги домой: Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. А раз такое дело, давай решим: где легче? В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, две очереди годовальшиков-стрельцов собралось: новые пришли и старых на нас держут. Тыщ с пять, а то и больше. Нас — тыща с небольшим. Да хворых вон сколь! Это — одно. Терки — там тоже стрельцы…  Степан сидел на камне, несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним — кто стоял, кто сидел — есаулы, сотники: Иван Черноярец, Ярослав Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно; казалось, мысли его были далеко отсюда. Так казалось — не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил:  — Как сам-то думаешь, Федор?  — На Терки, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все головы покладем без толку, не пройдем. А Терки, даст бог, возьмем, зазимуем… Есть куда приткнуться.  — Тьфу! — взорвался опять сухой жилистый старик Кузьма Хороший, по прозвищу Стырь (руль). — Ты, Федор, вроде и казаком сроду не был! Там не пройдем, здесь не пустют… А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили: «Идите, казачки, пошарпайте нас!» Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу…  — Не путайся, Стырь, — жестко сказал серьезный есаул.  — Ты мне рот не затыкай! — обозлился и Стырь.  — Чего хочешь-то?  — Ничего. А сдается мне, кое-кто тут зря саблюку себе навесил.  — Дак вить это — кому как, Стырь, — ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. — Доведись до тебя, она те вовсе без надобности: ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся — шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а? — Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство. — А то болтают, што он у тя не простой, а вроде на ем шерсть…  — Язык — это што! — сказал Стырь и потянул саблю из ножен. — Я лучше тебе вот эту ляльку покажу…  — Хватит! — зыкнул Черноярец, первый есаул. — Кобели. Обои языкастые. Дело говорить, а они тут…  — Но у его все равно длинней, — ввернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика.  — Говори, Федор, — велел Степан. — Говори, чего начал-то.  — К Теркам надо, братцы! Верное дело. Пропадем мы тут. А уж там…  — Добро-то куда там деваем?! — спросили громко.  — Перезимуем, а по весне…  — Не надо! — закричали многие. — Два года дома не были!  — Я уж забыл, как баба пахнет.  — Молоком, как…  Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю.  — Сами вы бабы все тут! — сказал зло и горестно.  — К Яику пошли! — раздавались голоса. — Отымем Яик — с ногаями торговлишку заведем! У нас теперь с татарвой раздора нет.  — Домо-ой!! — орало множество. Шумно стало.  — Да как домой-то?! Ка-ак? Верхом на палочке?!  — Мы войско али — так себе?! Пробьемся! А не пробьемся — сгинем, не велика жаль. Мы первые, што ль?  — Не взять нам теперь Яика! — надрывался Федор. — Ослабли мы! Дай бог Терки одолеть!.. — Но ему было не перекричать.  — Братцы! — На бочонок, рядом с Федором, взобрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак. — Пошлем к царю с топором и плахой — казни али милуй. Помилует! Ермака царь Иван миловал же…  — Царь помилует! Догонит да ишо раз помилует!  — А я думаю…  — Пробиваться!! — стояли упорные, вроде Стыря. — Какого тут дьявола думать! Дьяки думные нашлись…  Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на кудлатого… То ли хотел запомнить, кто первый выскочил «с топором и плахой», какой умник.  — Батька, скажи, ради Христа, — повернулся Иван Черноярец к Степану. — А то до вечера галдеть будем.  Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел тяжеловатой крепкой походкой. Ноги — чуть враскорячку. Шаг неподатливый. Но, видно, стоек мужик на земле, не сразу сшибешь. Еще в облике атамана — надменность, не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура.  Поутихли. Смолкли вовсе.  Степан подошел к бочонку… С бочонка спрыгнули Федор и кудлатый казак.  — Стырь! — позвал Степан. — Иди ко мне. Любо слушать мне твои речи, казак. Иди, хочу послушать.  Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка:  — Тимофеич! Рассуди сам: допустим, мы бы с твоим отцом, царство ему небесное, стали тада в Воронеже думать да гадать: интить нам на Дон али нет? — не видать бы нам Дона как своих ушей. Нет же! Стали, стряхнулись — и пошли. И стали казаками! И казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака — бабы! Да то ли мы воевать разучились? То ли мясников-стрельцов испужались? Пошто сперло-то нас? Казаки…  — Хорошо говоришь, — похвалил Степан. Сшиб набок бочонок, указал старику: — Ну-ка — с него, чтоб слышней было.  Стырь не понял.  — Как это?  — Лезь на бочонок, говори. Но так же складно.  — Неспособно… Зачем свалил-то?  — Спробуй так. Выйдет?  Стырь в неописуемых персидских шароварах, с кривой турецкой сабелькой полез на крутобокий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам, посмотрел на атамана…  — Говори, — велел тот. Непонятно, что он затеял.  — А я и говорю, пошто я не вижу здесь казаков? — сплошные какие-то…  Бочонок крутнулся; Стырь затанцевал на нем, замахал руками.  — Говори! — велел Степан, сам тоже улыбаясь. — Говори, старый!  — Да не могу!.. Он крутится, как эта… как жана виноватая…  — Вприсядку, Стырь! — кричали с круга.  — Не подкачай, ядрена мать! Языком упирайся!..  Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка.  — Не можешь? — громко — нарочно громко — спросил Степан.  — Давай я поставлю его на попа…  — Вот, Стырь, ты и говорить мастак, а не можешь — не крепко под тобой. Я не хочу так…  Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него.  — Мне тоже домой охота! — Только домой прийтить надо хозяевами, а не псами битыми. — Атаман говорил короткими, лающими фразами — насколько хватало воздуха на раз: помолчав, опять кидал резкое, емкое слово. Получалось напористо, непререкаемо. Много тут — в манере держаться и говорить перед кругом — тоже исходило от силы Степана, истинно властной, мощной, но много тут было искусства, опыта. Он знал, как надо говорить, даже если не всегда знал, что надо говорить.  — Чтоб не крутились мы на Дону, как Стырь на бочке. Надо пройтить, как есть — с оружием и добром. Пробиваться — сила не велика, браты, мало нас, пристали. Хворых много. А и пробьемся — не дадут больше подняться. Доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Но прийтить надо целыми. Будем пока стоять здесь — отдохнем. Наедимся вволю. Тем времем проведаем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь, добудьте рыбы… Здесь в ямах ее много. Дозору — глядеть!  Круг стал расходиться. Разболокались, разворачивали невода. Летело на землю дорогое персидское платье… Ходили по нему. Сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Парами забредали в вод |

, растягивая невода. Охали, ахали, весело матерились. Там и здесь запылали костры; подвешивали на треногах большие артельные котлы.

Больных снесли со стругов на бережок, поклали рядком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове. Пленных тоже свели на берег, они разбрелись по острову, помогали казакам: собирали дрова, носили воду, разводили костры.

Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались есаулы: что-то недоговаривал атаман, казалось, таил что-то. Им хотелось бы понять, что он таит.

Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил, и злился, что много говорит. Он ничего не таил, он не знал, что делать.

— С царем ругаться нам не с руки, — говорил он, стараясь не глядеть на есаулов. — Несдобруем. Куда!.. Вы подумайте своей головой!

— Как же пройдем-то? Кого ждать будем? Пока воеводы придут?

— Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондырев к шаху за зипунами — пропустили. И мы так же: был грех, теперь смирные, домой хочем — вот и все.

— Не оказались бы они хитрей нас — пропустит, а в Астрахани побьют, — заметил осторожный, опытный Фрол Минаев.

— Не посмеют — Дон подымется. И с гетманом у царя неладно. Нет, не побьют. Только самим на рожон теперь негоже лезть. Приспичит — станицу к царю пошлем: повинную голову меч не секет. Будем торчать как бельмо на глазу, силу, какая есть, сберегем. А сунемся — побьют. — Степан посмотрел на есаулов. — Понятно говорю? Я сам не знаю, чего делать. Надо подождать.

Помолчали есаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать. Но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока.

— Держать нас у себя за спиной — это только дурак додумается, — взялся опять за слово Степан. — Я не слыхал, что воеводы астраханские такие уж лопоухие. А с князем Львовым у нас уговор: выручать друг дружку на случай беды…

— Откуда у вас дружба такая повелась? — с любопытством спросил Ларька Тимофеев, умный и жестокий есаул с неожиданно синими ласковыми глазами. — Не побратим ли?

Он весь какой-то — вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках, но Степана любит, как бабу, ревнует, и не хочет этого показать, и злится всерьез, и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти и что делать и чтобы поступал немилосердно. Случается — атамана затрясет неудержимая ярость, — Ларька тут как тут: готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев. Но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность.

Степан ответил не сразу, с неохотой… Не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить… Несколько подумал, поднял глаза на Ларьку.

— А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? Дева непорочная? Она в этих делах не помощница. Случись теперь беда с нами, я выдам Львова, он знает. Что он, сам себе лиходей?

— Как же он тебе теперь поможет?

Степан, как видно, и про это думал один.

— Будет петь в уши Прозоровскому: «Пропусти Стеньку, ну его к черту! Он будет день ото дня силу копить здесь — нам неспокойно». По-другому ему нельзя. Надо с им только как-нибудь стронуться.

— А ну-ка царь им велит? — допрашивал Ларька. — Тогда как? Што же он, поперек царской воли пойдет?

— Мы с царем пока не цапались — зачем ему? И говорю вам: с Украйной у их плохие дела. Иван Серко всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Серком, хитрый Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал — кто посильней. Царь повыше нас сидит — на престоле, должен это видеть. Он и видит — не дурак, правда что… — Степан помолчал опять, посмотрел на Черноярца. — Иван, пошли на Дон двух-трех побашковитей, пускай с Паншина вниз пройдут, скажут: плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай собираются да идут к нам — Волгой ли, через Терки ли — как способней. К гребенским тоже пошли — тоже пускай идут, кому охота. А как подвалют со всех сторон… я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот. Я им подпою. Посылай, Иван. Придут, не придут — пусть шум будет: мы без шуму не собираемся. А шумом-то и этих, — Степан кивнул в сторону Астрахани, — припужнем: небось сговорчивей будут.

— К гребенским послал, — откликнулся Иван.

— Ну, добре. Прибери на Дон теперь. Пойдем, Фрол, сторожевых глянем. — Степан вышагнул из шатра. Надоело говорить. И говорить надоело, и — в душу опять лезут, дергают.

— На кой черт столько митрополиту отвалил на учуге? — недовольно спросил Фрол, шагая несколько сзади Степана.

— Надо, — коротко ответил тот, думая о чем-то своем. — Помолчал и добавил: — Молиться за нас, грешных, будет.

— А ясырь-то зачем? — пытал Фрол.

— Хитрый ты, Фрол. А скупой. Церква, она как курва добрая: дашь ей — хороший, не дашь — сам хуже курвы станешь. С ей спорить — легче на коне по болоту ехать.

Степан остановился над затончиком, засмотрелся в ясную ласковую воду… Плюнул, пошел дальше. Бездействие самого томило атамана.

— Тоска, Фрол. Долго тут тоже не надо — прокиснем.

Некоторое время шли молчком.

Давно они дружили с Фролом, давно и странно. Нравилась Степану рассудительность Фрола, степенность его, которая, впрочем, умела просто и неожиданно оборваться: Фрол мог отмочить такое, что, например, головорезу Сереге Кривому и в лоб бы никогда не влетело (лет пять тому назад Фрол заехал в церковь верхом на коне и спросил у людей: «Как на Киев проехать?»). Эта изобретательность Фрола, от которой, случалось, сам Фрол жестоко страдал, тоже очень нравилась Степану. Фрол казался старше атамана, хоть они были годки. Степан нет-нет, а оглядывался на Фрола, слушал, но не показывал, что слушает, а иной раз зачем-то даже поперек шел — назло, что ли, только сам Степан не смог бы, наверно, объяснить (да он как-то и не думал об этом): зачем ему надо назло Фролу делать? Фрол был хитрый, терпеливый. Сделает Степан наперекор ему, глянет — проверить — как?.. Фрол — как так и надо, молчит к делает как велено, но чуял Степан, что делает больно другу, чуял и потому иногда нарочно показывал всем, как они крепко дружат с Фролом.

В прибрежных кустах, неподалеку, послышались женские голоса, плеск воды — купались.

— Кто эт? — заинтересовался Фрол.

— Тише… Давай напужаем. — Степан чуть пригнулся, пошел сторожким неслышным шагом. Крался всерьез, как на охоте, даже строго оглянулся на Фрола, чтоб и тот не шумел тоже.

— А-а… — догадался Фрол. И тоже пригнулся и старался ступать тихо.

Вот — налетел миг, атаман весь преобразился, собрался в крепкий комок… Тут он весь. И в бою он такой же. В такой миг он все видел и все понимал хорошо и ясно. Чуть вздрагивали ноздри его крупного прямого носа, и голос — спокойный — маленько слабел: говорил мало, дельно. Мгновенно соображал, решал сразу много — только б закипело дело, только б неслись, окружали, валили валом — только бы одолеть или спастись. Видно, то и были желанные мгновения, каких искала его беспокойная натура. Но и еще не все. К сорока годам жизнь научила атамана и хитрости, и свирепому воинскому искусству, и думать он умел, и в людях вроде разбирался… Но — весь он, крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порой жестокий, — в таком-то, жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать. Это непостижимо, но вся жизнь его, и раньше, и после — поступки и дела его — тому свидетельство. Как только где натыкалась эта добрая душа на подлость и злость людскую, так Степана точно срывало с места. Прямо и просто решалось тогда: обидел — получи сам. Тогда-то он и свирепел, бывал жесток. Но эту-то добрую, справедливую душу чуяли в нем люди, и тянулись к нему, и надеялись, потому что с обидой человеку надо куда-нибудь идти, кому-то сказать, чтобы знали. И хоть порой томило Степана это повальное к нему влечение, он не мог отпихивать людей — тут бы и случилась самая его жестокая жестокость, на какую он не помышлял. Он бы и не нашел ее в себе, такую-то, но он и не искал. Он только мучился и злился, везде хотел успеть заступиться, но то опаздывал, то не умел, то сильней его находились… И сердце его постоянно сжималось жалостью и злостью. Жалость свою он прятал и от этого только больше сердился. Он берег и любил друзей, но видел, кто чего стоит. Он шумно братался, но сам все почти про всех понимал, особо не сожалел и не горевал, но уставал от своей трезвости и ясности. Порой он спохватывался подумать про свою жизнь — куда его тащит, зачем? — и бросал: не то что не по силам, а… Тогда уж сиди на берегу, без конца думай и думай — тоже вытерпеть надо. Это-то как раз и не по силам — долго сидеть. Посидит-посидит, подумает — надо что-нибудь делать. Есть такие люди: не могут усидеть. Есть мужики: присядет на лавку, а уж чего-то ему не хватает, заоглядывался… Выйдет во двор — хоть кол надо пошатать, полешко расколоть. Такие неуемные.

…Купалась дочь астаринского Мамед-хана с нянькой. Персиянки уединились и все на свете забыли — радовались теплу и воде. И было это у них смешно и беззащитно, как у детей.

Казаки подошли совсем близко… Степан выпрямился и гаркнул. Шахиня села от страха, даже не прикрыла стыд свой; нянька вскрикнула и обхватила сзади девушку.

Степан смеялся беззвучно; Фрол, улыбаясь, пожирал наголодавшимися глазами прекрасное молодое тело шахини.

— Сладкая девка, в святителя мать, — промолвил он в нежностью. — Сердце обжигает, змея.

— Ну, одевай ее!.. — сказал Степан няньке. — Или вон — в воду. Чего расшиперилась, как наседка!

Старуха не понимала; обе со страхом глядели на мужчин.

— В воду! — повторил Степан. Показал рукой.

Молодая и старая плюхнулись в воду по горло.

— Зря согнал, — пожалел Фрол. — Хоть поглядеть…

— Глазами сыт не будешь.

— Нехристи, а туда же — совестно.

— У их бабы к стыду больше наших приучены. Грех.

— Такая наведет на грех… Ослепну, не гляди!

Женщины глядели на них, ждали, когда они уйдут.

— Что? — непонятно, с ухмылкой спросил Фрол. — Попалась бы ты мне одному где-нибудь, я бы тебя приголубил… Охота, поди, к тятьке-то? А?

Старуха нянька что-то сказала на своем языке, сердито.

— Во-во, — «согласился» Фрол, — тятька-то ее — бяка: бросил доченьку и — драла…

— Будет тебе, — сказал Степан. — Купайтесь! Пошли.

Два дозорных казака на бугре, в камнях, тоже забыли про все на свете — резались в карты. На кону между ними лежали золотые кольца, ожерелья, перстни… Даже шаль какая-то дивная лежала.

Игроки — старый, седой и совсем еще молодой, почти малолеток, — увлекшись игрой, не услышали, как подошел Степан с Минаевым.

— Сукины дети! — закричал над ними Степан. — В дозоре-то?

— Да кто ж это так делает, а?!. — подал голос и Фрол.

Молодой казачок вскочил и отбежал в сторону… Старик, понурив голову, остался сидеть. Весь он был черный от солнца, только борода пегая да голова седая. Он пригладил черной сухой рукой волосы на голове.

— Чей? — спросил Степан молодого.

— Федоров.

— Зовут?

— Макся.

— Знаешь, что за это бывает? В дозоре карюжничать…

— Знаю.

— А пошто побежал? От меня, что ли, убежать хочешь?

— Прости, батька.

— Иди суда!

Казачок медлил.

— Ну, я за тобой гоняться не буду, на кой ты мне нужен. Снимай штаны, старый, тебе придется ввалить, раз молодой убежал. Раз ему не совестно…

— Эхе-хе, — вздохнул старый и стал снимать штаны. — Смолоду бит не был, дак хоть на старости плеть узнаю. Не шибко старайся, Степан Тимофеич, а то у тебя рука-то…

Степан краем глаза наблюдал за молодым.

Тот подумал-подумал и вернулся, распоясываясь на ходу.

— Напаскудил и в бег? — сказал Степан. — Плохо, казак. От своих не бегают. Чтоб ты это крепко запомнил, — вложь ему, Микифор, полста горячих. А с тобой как-нибудь сквитаемся.

— Ложись, Максимка, всыплю тебе, поганец, чтоб старых людей не дурачил, — обрадовался Микифор.

— Обыграл? — полюбопытствовал Степан.

— Всего обчистил, стервец!

— Молодец! Не хлопай ушами тоже.

— Да он мухлюет, наверно! — воскликнул старый казак, как-то — и возмущаясь, и жалуясь — сразу.

— Кто, я мухлюю?! — возмутился и Макся. — Чего зря-то, дядя Микифор… Карта везучая шла. Я сам вчера Миньке Хохлачу чепь золотую продул — карта плохая шла.

— Ложись, ложись, — поторопил его старый.

Макся спустил штаны.

— А хоть и мухлюет — глядеть надо, на то глаза, — вмешался Фрол за-ради справедливости.

— За ими углядишь! Они вьются, как черти на огню… Зарок давал — не играть, нет, раззудил, бесенок…

Макся лег лицом вниз, закусил зубами мякоть ладони.

Степан с Фролом направились к другим дозорам.

— Сам щитай — сколько: я только до двух десятков умею, — сказал Микифор.

— Я скажу «хватит», а ты не поверишь, скажешь, обманываю… — Макся отпустил ладонь — хотел было поговорить, даже и голову приподнял — тут его обожгла боль, он ойкнул, впился зубами в ладонь, не выпуская ее, крикнул: — Сам-то не злись, сатана!

— Я по спине увижу, когда хватит, — сказал старый. — А это тебе за «сатану» — от меня. — Старик еще раз больно стегнул парня. Потом еще раз, и еще раз, и еще — с сердцем, вволю… Скоро натешился — раз семь огрел — и велел: — Надевай штаны, будем дальше играть. Но станешь опять мухлевать!..

— Да я с тобой вовсе играть не стану!

— Не станешь, опять ложись: все полста отдам те.

Макся скривился, зло сплюнул и присел бочком на камень — опять играть.

Степан с Фролом остановились на возвышении.

Внизу шумел, копошился, бурлил лагерь.

Разноцветье, пестрота одежды и товаров, шум, гам и суетня — все смахивало скорей на ярмарку, нежели на стоянку войска.

Степан долго молчал, глядя вниз. Сказал сокровенно:

— Нет, Фрол, с таким табаром — не война, горе: рухлядь камнем на шее повиснет. Куда они гожи, такие?.. Только торговлишку и затевать.

— Вот и надо скорей сбыть ее.

— Куда? Кому?..

— Терки-то возьмем!

— Терки-то? — в раздумье, но с явным протестом повторил Степан. — А на кой они мне… Терки-то? Мне Дон надо.

По-разному использовали уставшие, наголодавшиеся, истомившиеся под нещадным морским солнцем люди желанный отдых. Отдых вблизи родной земли, по которой они стосковались.

Вот усатый пожилой хохол, мастер колоть языком, удобно устроившись на куче тряпья, брешет молодым казакам:

— Шов мужик з поля, пидходе до своей хаты, зирк в викно, а у хати москаль… гм… цюлуе його жинку…

Хохол, правда, мастер: встал, «показал», как шел себе мужик домой, ничего не подозревая, как глянул в окно — я увидел… И все — сдержанно, не торопясь, с удовольствием.

— Да. Мужик мерщий у хату, а москаль примитыв мужика, да мерщий на покутя, вкрывся, сучий сын, — не бы то спыть. Мужик шасть у хату и баче, що москаль спыть, а жинка пораеця биля пички. «Хиба ж то я нычого и не бачив!» — кажэ мужик. «А що ты там бачив?» — пыта його жинка. «Як що, бисова дочка!» — «За що ты лаешься, вражий сыну?» — «Як за що, хиба ж я не бачив, як тоби москаль цюлував». — «Колы?» — «Як колы?!.»

Молодые, затаив дыхание, ждут, что будет дальше, хотя слышали, наверно, эту историю.

А вот бандурист… Настроил свой инструмент, лениво перебирает струны. И так же неторопко, даже как будто нехотя — упросили — похаживает по кругу, поигрывает плечами какой-то новгородский «перс». Он и не поет и не пляшет — это нечто спокойное, бесконечное, со своей ухваткой, ужимками, «шагом» — все выверено. Это можно смотреть и слушать долго. И можно думать свои думы. Что-то родное, напевно-складное:

Гуси-лебеди летели,  
В чисто поле залетели,  
В поле банюшку доспели.  
Воробей дрова колол,  
Таракан баню топил,  
Мышка водушку носила,  
Вошка парилася,  
Пришумарилася.  
Бела гнидка подхватила,  
На рогожку повалила;  
Тонку ножку подломила, —  
Вошку вынесли…

А здесь свое, кровное — воинское: подбрасывают вверх камышинки и рубят их на лету шашками — кто сколько раз перерубит. Здесь — другая способность. Тонко посвистывают сверкающие круги, легко, «вкусно» сечет хищная сталь сочные камышинки. И тут свой мастер. Дед. Силу и крепость руки утратил он в бесконечных походах, намахался за свою жизнь вдосталь, знает «ремесло» в совершенстве. Учит молодых:

— Торописся… Не торопись.

— Охота ишо разок достать.

— Достанешь, еслив не будешь блох ловить. Отпуская не на всю руку… Не на всю — а штоб она у тебя вкруг руки сама ходила, не от собак отбиваисся. Во — глянь…

Полоска холодной стали до изумления послушна руке деда, вроде и не убивать он учит, а играет дорогой светлой игрушкой. Сам на себя любуется, ощерил порченые зубы, приговаривает:

— От-тя, от-тя…

— Ну?.. — скосоротился малолеток, вроде Макси.

— Хрен гну! Вишь, у меня локоть-то не ходит.

— Зато удар слабый.

— А тебе крепость тут не нужна, тебе скоро надо. А када крепость, тада на всю руку — и на себя. От-теньки!.. — секир башка! Тут — вкладывай, сколь хватит силенки, и — маленько на себя, на себя…

Полсотни ребят у воды машут саблями. Загорелые, потные тела играют мускулами… Красиво.

Степан, спустившись с высотки, засмотрелся со стороны на эту милую его сердцу картину. К нему подошли Иван Черноярец, Иван Аверкиев, Сукнин, Ларька Тимофеев…

— С камышом-то вы ловкие! Вы — друг с дружкой! — не выдержал Степан.

Перестали махать.

— Ну-ка, кто порезвей? — Атаман вынул саблю, ждал. Он любил молодых, но если бы кто-нибудь из них вздумал потягаться с ним в искусстве владеть саблей, то схватился бы он с тем резвачом смертно. — Нет, что ли, никого? Ну и казаки!.. Куда смотришь, дед? Они у тебя только с камышом хороши. Наши молодцы — кто больше съест, тот и молодец? Эх… — Атаман шутил. Но и всегда — и серьезно — учил: «Губошлепа никто не любит, даже самая худая баба. Но смерть губошлепа любит». Он самолично карал за неловкость, за нерасторопность и ротозейство. Но теперь он шутил. Ему любо было, что молодые не тратят зря время, а постигают главное в их опасной жизни. — Ну, молодцы?.. Кто? Правда, охота.

Рубака-дед громко высморкался, вытерся заморским платком необыкновенной работы, опять заткнул его за пояс.

— Што-то я не расслышал, — обратился он к молодым, — кто-то здесь, однако, выхваляется? А?

Молодые улыбались, смотрели на атамана. Они тоже любили его. И как он рубится, знали.

— Я выхваляюсь! Я! — сказал Степан.

— Эге!.. Атаман? — удивился дед. — Легче шуткуй, батька. А то уж я хотел подмигнуть тут кой-кому, штоб пообтесали язык… А глядь — атаман. Ну, счастье твое — глаза ишо видют, а то б…И загудели опять все сорок сороков московских.

Разина ввозили в Москву.

Триста пеших стрельцов с распущенными знаменами шествовали впереди.

Затем ехал Степан на большой телеге с виселицей. Под этой-то виселицей, с перекладины которой свисала петля, был распят грозный атаман — руки, ноги и шея его были прикованы цепями к столбам и к перекладине виселицы. Одет он был в лохмотья, без сапог, в белых чулках. За телегой, прикованный к ней за шею тоже цепью, шел Фрол Разин.

Телегу везли три одномастных (вороных) коня.

За телегой, чуть поодаль, ехали верхами донские казаки во главе с Корнеем и Михайлой Самарениным.

Заключали небывалое шествие тоже стрельцы с ружьями, дулами книзу.

Степан не смотрел по сторонам. Он как будто думал одну какую-то большую думу, и она так занимала его, что не было ни желания, ни времени видеть, что творится вокруг.

Так ввезли их в Кремль и провели в Земский приказ.

И сразу приступили к допросу. Царь не велел мешкать.

— Ну? — мрачно и торжественно молвил думный дьяк. — Рассказывай… Вор, душегубец. Как все затевал?.. С кем сговаривался?

— Пиши, — сказал Степан. — Возьми большой лист и пиши.

— Чего писать? — изготовился дьяк.

— Три буквы. Великие. И неси их скорей великому князю всея-всея.

— Не гневи их, братка! — взмолился Фрол. — К чему ты?

— Что ты! — притворно изумился Степан. — Мы же у царя!.. А с царями надо разговаривать кратко. А то они гневаются. Я знаю.

Братьев свели в подвал.

За первого принялись за Степана.

Подняли на дыбу: связали за спиной руки и свободным концом ремня подтянули к потолку. Ноги тоже связали, между ног просунули бревно, один конец которого закрепили. На другой, свободный, приподнятый над полом, сел один из палачей — тело вытянулось, руки вывернулись из суставов, мускулы на спине напряглись, вздулись.

Кнутовой мастер взял свое орудие, отошел назад, замахнул кнут обеими руками над головой за себя, подбежал, вскрикнул и резко, с вывертом опустил смоленый кнут на спину. Удар лег вдоль спины бурым рубцом, который стал напухать и сочиться кровью. Судорога прошла по телу Степана. Палач опять отошел несколько назад, опять подскочил и вскрикнул — и второй удар рассек кожу рядом с первым. Получилось, будто вырезали ремень из спины. Мастер знал свое дело. Третий, четвертый, пятый удар… Степан молчал. Уже кровь ручейками лилась со спины. Сыромятный конец ремня размяк от крови, перестал рассекать кожу. Палач сменил кнут.

— Будешь говорить? — спрашивал дьяк после каждого удара.

Степан молчал.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый — свистящие, влипающие, страшные удары. Упорство Степана раззадорило палача. Умелец он был известный, и тут озлобился. Он сменил и второй кнут.

Фрол находился в том же подвале, в углу. Он не смотрел на брата. Слышал удары кнута, всякий раз вздрагивал и крестился. Но он не услышал, чтобы Степан издал хоть один звук.

Двадцать ударов насчитал подручный палача, сидевший на бревне.

— Двадцать. Боевой час, — сказал он. — Дальше… без толку: забьем, и все.

Степан был в забытьи, уронив голову на грудь. На спине не было живого места. Его сняли, окатили водой. Он глубоко вздохнул.

Подняли Фрола.

После трех-четырех ударов Фрол громко застонал.

— Терпи, брат, — серьезно, с тревогой сказал Степан. — Мы славно погуляли — надо потерпеть. Кнут не Архангел, душу не вынет. Думай, что — не больно. Больно, а ты думай: «А мне не больно». Что это? — как блоха укусила ей-богу! Они бить-то не умеют.

После двенадцати ударов Фрол потерял сознание. Его сняли, бросили на солому, окатили тоже водой.

Стали нажигать в жаровнях уголья. Нажгли, связали Степану руки спереди теперь, просунули сквозь ноги и руки бревно, рассыпали горячие уголья на железный лист и положили на них Степана спиной.

— О-о!.. — воскликнул он. — От эт достает! А ну-ка, присядь-ка на бревно-то — чтоб до костей дошло… Так! Давненько в бане не был — кости прогреть. О-о… так! Ах, сукины дети, — умеют, правда…

— Где золото зарыл? С кем списывался? — вопрошал дьяк. — Где письма? Откуда писали?..

— Погоди, дьяче, дай погреюсь в охотку! Ах, в гробину вас!.. В три господа бога мать, не знал вперед такой бани — погрел бы кой-кого… Славная баня!

Ничего не дала и эта пытка.

Два палача и сам дьяк принялись бить лежащего Степана по рукам и по ногам железными прутьями.

— Будешь говорить?! — заорал дьяк.

— Июды, — сказал Степан. — Бейте уж до конца… — Он и хотел уж, чтоб забили бы насмерть тут, в подвале, — чтобы только не выводили на народ такого… слабого.

— Где добро зарыл?

На это Степан молчал.

— Заговорил? — спросил царь.

— Заговорит, государь! — убежденно сказал думный дьяк, не тот, что был при пытке, а другой, который часто проведывал Разиных в подвале: он истинно веровал в кнут и огонь. — Покамест упорствует.

— Спросить, окромя прочего: о князе Иване Прозоровском и о дьяках. За что побил и какая шуба?

Писец быстро записывал вопросы царя.

— Как пошел на море, по какому случаю в Астрахань ясырь присылал? Кому? По какому умыслу, как вина смертная отдана, хотел их побить и говорил? За что вселенских хотел побить, что они по правде низвергли Никона, и что он к ним приказывал? И старец Сергей от Никона по зиме нынешней прошедшей приезжал ли? Как иттить на Синбирск, жену видал ли?

Степана привязали спиной к столбу, заклячили голову в кляпы, выбрили макушку и стали капать на голое место холодную воду по капле. Этой муки никто не мог вытерпеть.

Когда стали выбривать макушку, Степан слабым уже голосом сказал:

— Все думал… А в попы постригут — не думал. Я грабил, а вы меня — в попы…

Началось истязание водой.

— С крымцами списывался? — спрашивал дьяк.

Степан молчал.

Капают, капают, капают капли… Голова стянута железными обручами — ни пошевелить ею, ни уклониться от муки. Лицо Степана окаменело. Он закрыл глаза. А на голове куют и куют красную подкову; горит все внутри, глаза горят, сердце горит и пухнет… Да уж и остановилось бы оно, лопнуло! Господи, немо молил Степан, да пошли ты смерть!.. Ну, сколько же?.. Зачем уж так?

— Куда девал грабленое? Кого подсылал к Никону?

Волнами из тьмы плещет красный жар; голова колется от оглушительных ударов. Степан стал терять сознание.

— Чего велел сказать Никон? — еще услышал он, последнее.

…Вошел Степан в избу; сидит в избе старуха, качает дите. Поет. Степан стал слушать, прислонившись к косяку. Бабка пела:

Бай, бай, да побай,  
Хоть сегодня помирай.  
Помирай поскорей —  
Хоронить веселей.  
Тятька с работки  
Гробок принесе,  
Баушка у свечки рубашку сошье.  
Матка у печки  
Блинов напеке.  
Бай, бай…  
С села понесем  
Да святых запоем.  
Захороним, загребем  
Да с могилы прочь пойдем.  
Будем исть-поедать,  
Да и Ваню поминать.  
Ба-ай…

— Что ж ты ему такую… печальную поешь? — спросил Степан.

— Пошто печальную? — удивилась старуха. — Ему лучше будет. Хорошо будет. Ты не дослушал, дослушай-ка:

Спи, Ванюшка, спи, родной,  
Вечный табе упокой:  
Твоим ноженькам тепло,  
И головушке…

— Хватит! — загремел в былую силу Степан.

…Он почти прошептал этот свой громовой вскрик. Мучители не расслышали, засуетились.

— Что ты? А? — склонился дьяк.

— Кто? — спросил Степан, вылавливая взглядом в горящей тьме лицо дьяка.

— Кого хотел сказать-то? — еще спросил тот.

— Вам? — Степан медленно повел глазами, посмотрел на палачей. — Ну-у… выставились… Вы рады всю Русь продать… Июды. Змеи склизкие. Не страшусь вас…

Его ударили железом каким-то по голове. Опять все покачнулось и стало валиться.

Степан закрыл глаза. И вдруг отчетливо сказал:

— Тяжко… Помоги, братка, дай силы!

…И вдруг, почудилось ему, палачи в ужасе откачнулись, попятились… В подземелье загремел сильный голос:

— Кто смеет мучить братов моих?!

Вниз со ступенек сошел Иван Разин, склонился над Степаном.

— Братка!.. — Степан открыл глаза — палачи на месте, смотрят вопросительно.

— За брата казненного мститься хотел? — спросил дьяк. — Так?

Степан закрыл глаза. Больше он не проронил ни слова. Ни единого стона или вздоха не вырвалось больше из его уст. Господи, молил и молил он, пока помнил, да пошли ты мне смерти. Ну, что же так?.. Так уж и я не могу.

Царю доложили:

— Ничего больше не можно сделать. Все пробовали…

— Молчит?

— Молчит.

Царь гневно затопал ногами, закричал (Романовы все кричали, это потом, когда в их кровь добавилась кровь немецкая, они не кричали):

— Чего умеете?! Чего умеете?! Ничего не умеете!

— Все пробовали, государь… Из мести уперся, вор. За поимку свою мстится. Дальше без толку — дух испустит.

— Ну, и… все, будет, — сказал царь. — Не волыньте.

**17**

Красная площадь битком набита. Яблоку негде упасть.

Показались братья Разины под усиленной охраной. Площадь замерла.

Степан шел впереди… За ночь он собрал остатки сил и теперь старался идти прямо и гордо глядел вперед. Больше у него ничего не оставалось в последней, смертной борьбе с врагами — стойкость и полное презрение к предстоящей последней муке и к смерти. То и другое он вполне презирал. Он был спокоен и хотел, чтобы все это видели. Его глубоко и больно заботило — как он примет смерть.

Сам, без помощи палачей, взошел он на высокий помост лобного места. Фролу помогли подняться.

Дьяк стал громко вычитывать приговор:

— «Вор и богоотступник и изменник донской казак Стенька Разин!

В прошлом 175-м году, забыв ты страх божий и великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича крестное целование и ево государскую милость, ему, великому государю, изменил, и собрався, пошел з Дону для воровства на Волгу. И на Волге многие пакости починил, и патриаршие и монастырские насады, и иных многих промышленных людей насады ж и струги на Волге и под Астраханью погромил и многих людей побил».

Слушал люд московский затаив дыхание.

Слушал и не слушал Степан историю славных своих походов. Он помнил их без приговора. Спокойно его лицо и задумчиво. Он старался изо всех сил стоять прямо.

— «Ты ж, вор, и в шахове области многое воровство учинил. А на море шаховых торговых людей побивал и животы грабил, и городы шаховы поимал и разорил, и тем у великого государя с шаховым величеством ссору учинил многую».

Степан посмотрел на царскую башню на Кремлевской стене…

Оттуда смотрел на него царь Алексей Михайлович.

— «А во 177-м году по посылке из Астрахани боярина и воевод князя Ивана Семеновича Прозоровского стольник и воевода князь Семен Львов и с ним великого государя ратные люди на взморье вас сошли и обступили и хотели побить. И ты, вор Стенька с товарыщи, видя над собой промысел великого государя ратных людей, прислал к нему, князь Семену, двух человек выборных казаков. И те казаки били челом великому государю от всего войска, штоб великий государь пожаловал, велел те ваши вины отдать. А вы за те свои вины ему, великому государю, обещались служить безо всякой измены и меж великим государем и шаховым величеством ссоры и заводов воровских никаких нигде не чинить и впредь для воровства на Волгу и на моря не ходить. И те казаки на том на всем за все войско крест целовали. А к великому государю к Москве прислали о том бить челом великому государю казаков Ларьку и Мишку, с товарищи, знатно, обманом».

Вот когда во всю силушку заговорила бумага-то! Вот как она мстила теперь.

— «А во 178-м году ты ж, вор Стенька с товарищи, забыв страх божий, отступя от святые соборные и апостольские церкви, будучи на Дону, и говорил про спасителя нашего Иисуса Христа всякие хульные слова, и на Дону церквей божиих ставить и никакова пения петь не велел, и священников з Дону збил, и велел венчаться около вербы. Ты ж, вор, пошел на Волгу…»

Волга… Не ведомо ей, что славный герой ее, которого она качала на волне своей, слушает сейчас в Москве последние в жизни слова себе.

— «Ты ж, вор Стенька, пришед под Царицын, говорил царицынским жителям и вместил воровскую лесть, бутто их, царицынских жителей, ратные великого государя люди идут сечь. А те ратные люди посланы были на Царицын им же на оборону. И царицынские жители по твоей прелести своровали и город тебе здали. И ты, вор, воеводу Тимофея Тургенева и царицынских жителей, которые к твоему воровству не пристали, побил и посажал в воду».

Слушал народ московский. Молчал.

— «Ты ж, вор, сложась в Астрахани с ворами ж, боярина и воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского, взяв из соборной церкви, с раскату бросил. И брата его князя Михаила, и дьяков, и дворян, и детей боярских, которые к твоему воровству не пристали, и купецких всяких чинов астраханских жителей, и приезжих торговых людей побил, а иных в воду пометал мучительски, и животы их пограбил».

Степан смотрел куда-то далеко-далеко.

— «А учиня такое кровопролитие, из Астрахани пришел к Царицыну, а с Царицына к Саратову, и саратовские жители тебе город здали по твоей воровской присылке. А как ты, вор, пришел на Саратов, и ты государеву денежную казну и хлеб и золотые, которые были на Саратове, и дворцового промыслу, все пограбил и воеводу Козьму Лутохина и детей боярских побил.

А от Самары ты, вор и богоотступник, с товарищи под Синбирск пришел, с государевыми ратными людьми бился и к городу Синбирску приступал и многие пакости починил. И послал в разные города и места свою братью воров с воровскими прелестными письмами, и писал в воровских письмах, бутто сын великого государя нашего благоверный государь наш царевич и великий князь Алексей Алексеич жив и с тобой идет.

Да ты ж, вор и богоотступник, вмещал всяким людям на прелесть, бутто с тобою Никон монах, и тем прельщал всяких людей. А Никон монах по указу великого государя по суду святейших вселенских патриарх и всего Освещенного престола послан на Белоозеро в Ферапонтов монастырь, и ныне в том монастыре.

А ныне по должности к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу службой и радением войска Донского атамана Корнея Яковлева и всево войска и сами вы и с братом твоим с Фролкой поиманы и привезены к великому государю к Москве.

И за такие ваши злые и мерзкие пред господом богом дела и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу за измену и ко всему Московскому государству за разоренье по указу великого государя бояре приговорили казнить злою смертью — четвертовать».

Все так же спокойно, гордо стоял Степан.

Палач взял его за руку… Степан оттолкнул палача, повернулся к храму Василия Блаженного, перекрестился.

Потом поклонился на три стороны народу (минуя Кремль с царем), трижды сказал громко, как мог:

— Прости!

К нему опять подступили… Степан хотел лечь сам, но двое подступивших почему-то решили, что его надо свалить; Степан, обозлившись, собрал остатки сил и оказал сопротивление. Возня была короткая, торопливая; молча сопели. Степана уронили спиной на два бруса — так, что один брус оказался под головой, другой — под ногами… В тишине тупо, коротко тяпнул топор — отпала правая рука по локоть. Степан не издал стона, только удивленно покосился на отрубленную руку. Палач опять взмахнул топором; железное лезвие хищно всплеснуло на горячем солнце белым огнем; смачный, с хрустом, стук — отвалилась левая нога по колено. И опять ни стона, ни вздоха громкого… Степан, смертно сцепив зубы, глядел в небо. Он был бледен, на лбу мелкой росой выступил пот.

Фрол, стоявший в трех шагах от брата, вдруг шагнул к краю помоста и закричал в сторону царя:

— Государево слово и дело!

— Молчи, собака! — жестко, крепко, как в недавние времена, когда надо было сломить чужую волю, сказал Степан. Глотнул слюну и еще сказал — тихо, с мольбой, торопливо: — Потерпи, Фрол… родной… Недолго.

Палач третий раз махнул топором…

Гулко, зевласто охнул колокол. Народ московский дрогнул. Вскрикнула какая-то баба…

Палач рубил еще дважды.

Еще и еще били в большой колокол. И зык его — густой, тяжкий — низко плыл над головами людей…